

БАЛЕТКИ

Публикация в рамках совместного проекта журнала
с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).



РОЗА ПОЛАНСНАЯ
Прозаин. Родилась
в 1983 году на Дальнем
Востоке. Окончила Сара-
товский государственный
университет имени Черны-
шевского. Работала
редактором и заведующей
отделом комплектования
и обработки литературы

Централизованной город-
ской библиотечной системы.
Финалист международного
литературного конкурса
«Петроглиф-2022». Второе
место в номинации «Лучший
прозаин» II Международной
литературной премии
имени А. Серафимовича.
Лауреат премии альма-

наха «Царицын» в жанре
«проза». Участник Лите-
ратурной резиденции
в Пятигорске от Ассоциации
союзов писателей и изда-
телей, а также мастер-
ских для писателей Юга.
Полуфиналист конкурса
«Современный российский
рассказ» от «Роман-газеты».

Я снимаю с мокрых волос дочери шапку.
– Мокрущая, – говорю сама себе.
– Что? – Дочь возится с замками на зимних сапогах.

В холле Дворца культуры, сверкающего от гирлянд, в это время шумно, дети раздеваются, сидя кузнечиками на старых креслах. Острые коленки кузнечиков поднимаются и опускаются.

Сергей стоит чуть в стороне и смотрит на нас. То есть нас как бы не трое, а двое: я с дочерью и он.
– Мам, балетки! – дергает меня за куртку Котья.

Я осматриваю красное кресло и вспоминаю: балетки остались у бабушки перед тридцать первым декабря.

Сереза не слышит, но видит мои глаза и кивает головой: «Что?»

– Балетки, балетки! – Зачем-то делаю шаг к нему.

Мы стоим нос к носу, очень близко, почти интимно – от этого светящийся огоньками холл начинает раскачиваться, тепло сочится под кожей, стекает волнами.

– Балетки у бабушки. Побудешь с Котьякой? Я быстро – дом через дорогу.

Сереза подходит к креслу с Котьякой, стоит чужим, а я убегаю к выходу, пытаюсь попасть на ходу собачкой в замок куртки. Капюшон натягиваю уже на улице.

Бабушка Ксения – «двоюродная». В детстве мы с братом бегали к ней домой за сладостями. Меня,

взрослую, она продолжает считать маленькой и рассовывает по карманам конфеты.

Я бегу мимо уродской треугольной елки у ДК, через дорогу под навешенными сосульками-фонариками, мороз обжигает щеки, но мне жарко.

В бабушкиной квартире пахнет куриным супом и валерьянкой. Лицо бабушки кажется непривычным – давно я ее не видела. С прошлой зимы, когда умер на Севере Пашка – ее младший сын.

– Ари-ишенька, – радуется бабушка. – Курочку будешь? – Она сжимает руками передник. – Супчик лапшичный наварила, как чувствовала.

– Балетки, ба, балетки быстрее, – злюсь я, утыкаюсь взглядом в ком слезавшихся волос с боку ее головы.

С моих сапог стекает подтаявший снег, я в нетерпении чиркаю молнией куртки вниз.

Бабушка неторопливо переступает тапочками, возится где-то в зале, шуршит пакетами.

– А я радая такая, Аришеньку увядала, красиванькую, молоденькую, – напевает бабушка.

– Ба, быстрее! – Я дую под ворот футболки.

– Аришенька камфетки любит, а Котенька – бабочек.

– Ба-а-а.

Нестерпимо пахнет старостью. Я делаю шаг, чтобы заглянуть в зал: на овальных настенных часах почти без двух шесть. Поднимаю ногу

и отхожу назад. На полу остается мокрое грязное пятно. Бабушка не замечает пятно и шаркает мягкими тапочками по нему, тянет ко мне пакет. Дряблая кожа на ее руках дрожит, под ней вырисовываются косточки.

– Откуда бабочки на балетках? – заглядываю я в пакет.

– Наши-ила. Для Коти.

Я отворачиваюсь и дергаю дверную ручку.

– Аришенька – ма-ахонькая, как семиклассница, – слышу сзади.

Стены в подъезде разрисованы черным. Я нажимаю на кнопку лифта. Меня раздражает обрубок света, падающий из раскрытой двери, будто бабушка ждет чего-то, ловит меня.

– Курточку бы подлиннее, застудился.

В лифте я смотрю на свое лицо в зеркале. В ледяных глазах – усталость, раздраженность – как их убрать, чтобы Сережа не увидел? Я делаю попытку улыбнуться.

В холле Дворца культуры уже нет кузнечиков в шортиках и танцевальных купальниках. Лица родителей, сидящих в креслах, освещаются экранами телефонов. Сережа стоит на том же месте рядом с сидящей Котькой и смотрит в переливающееся от новогодних гирлянд окно. У Котьки на глазах слезы.

– Ничего страшного, – шепчу я, впихивая маленькие теплые ножки в ледяные балетки, – всего на пять минут опоздали. Зато бабочки прилетели.

Короткие Котькины пальцы неуклюже трогают крылья бабочек.

– Беги!

Когда худенькая фигурка дочери исчезает за высокой дверью, я наконец сажусь и поднимаю глаза на Сергея. Он садится рядом. Мои напряженные руки расслабляются, я вытягиваю ноги и слегка сползаю вперед по сиденью. Все внутри расправляется. В отсутствие Котьки Сережа оживает, перестает быть деревянным: занимает локтями оба подлокотника, откидывается на спинку кресла. Он рассказывает про рабочий проект, а я пытаюсь понять смысл, но ловлю лишь отдельные слова, которые кажутся красивыми. Меня усыпляет его голос.

Под закрытыми веками всплывает лицо бабушки. Когда-то густые иссиня-черные волосы, а теперь редкие и седые, бесцветные глаза заискивают, сухие губы вытягиваются в ласковое: «Арии-ишенька». Имя ударяется о грудь. Еще и эти старческие руки, сжимающие передник ученически, как в первом классе, и эта дрожащая кожа с хрупкими косточками. Но я гоню образ и открываю глаза.

Сережа замолкает.

– Тебе неинтересно? – замечает он.

Я глупо киваю и тут же машу головой. Мне хочется снова слышать его голос. Соседнее кресло опрокидывает мою шапку. Я рыщу по кафельному полу, нащупываю пушистый ворс и вытягиваю.

Сережа берет из моих рук шапку и рассматривает. По моим щекам медленно растекается жар. Я изучаю квадратные ногти на его тонких пальцах: Сережа ни разу меня не касался. Шапка пахнет цитрусовыми духами и бальзамом для волос – он это тоже чувствует?

«Раз, два-а, раз, два-а! Быстрее!» – слышится за дверью.

Попсовая музыка включена очень громко.

«Раз, два-а, раз, два-а! Катя, не отставай!»

Нехорошо вышло с бабушкой, нехорошо. Я цыкаю и мотаю головой.

– Что? – удивляется Сергей.

Я дергаю рукой соседнее сиденье:

– Устала, Сереж, – отвожу я глаза.

Музыка смолкает внезапно, и кузнечики высыпают гурьбой из раскрывшихся дверей. Котька идет последней – рассматривает бабочек.

Я отчаянно тру черные волосы дочери снятой футболкой.

– Мокрющие, – простанываю. – Вот как идти...

– Мам, смотри! – Котька вытягивает носочки и демонстрирует выученный «поклон».

Сережа стоит у окна одеревеневшим солдатиком, сцепив руки сзади, пока я напяливаю на Котьку слою одежды.

У входных дверей дочь останавливается и тянет меня за руку:

– Балетки, мам!

Чертовы балетки! Я возвращаюсь к креслу, чтобы достать их из-под него.

«Кто придумал такие дебилные сиденья!» – ругаюсь я беззвучно, одними губами, чтобы не слышал Сергей.

Пакет шуршит в руках. У меня ощущение, что пакет пахнет куриным супом.

На улице иду между Сережей и Котькой, сжимая маленькую ручонку в пушистой варежке. Свободную руку запускаю в карман и обнаруживаю маленькую конфетку «Пчелка».

– Дай! – требует Котька, заглядывая.

– После ужина, – отрезаю я и вглядываюсь в профиль Сережи: вдруг он поймет, что я – истеричка.

Через месяц покупаю восемь красных гвоздик. Сестры бабушки Ксении не сумели договориться,

у кого будут поминки, поэтому мы просто кладем цветы на могилку и расходимся.

– Займите помянуть, – просит старший сын бабы Ксении, руки его, сжимающие шапку, трясутся.

Но никто не отвечает ему. И он, склонив голову, остается стоять у бугорка земли, облепленного венками.

Мне хочется мысленно просить прощения у бабушки за последнюю встречу, но мысли наскакивают друг на друга: все слишком сумбурно, не по-людски, что ли. Старшая сестра бабушки Ксении уезжает с дочерью на белом джипе. Сережа, перегнувшись через переднее сиденье легковушки, открывает для меня дверь.

Весной я оказываюсь у лакированной темной двери. Долго смотрю на кнопку, не нажимая. Но дверь раскрывается без звонка, из квартиры вырывается растрепанная раскрасневшаяся девушка и бежит по лестнице вниз.

– Ко мне? – Цвѣлые глаза глядят на меня из проема.

Я киваю.

– Давнишний покойник? – спрашивают цвѣлые глаза в тесном коридоре.

Я пытаюсь надеть петельку куртки на крючок вешалки.

– Три месяца.

Я разуваюсь на газете и прохожу следом за седым аккуратным хвостиком в зал.

У цвѣлых глаз белый кружевной воротничок и сливовая кофточка.

Мы садимся друг напротив друга на твердые угловатые кресла с деревянными подлокотниками. Женщина аккуратно складывает руки на юбке – ладонь на ладони.

– У недавних обычно выпытывают припрятанное или прощение там просят, с давними больше любопытничают, философствуют.

Я запутываюсь пальцами в бахrome накидки.

– А вы давно их... слышите?

В коридоре что-то с грохотом падает на пол. Я вздрагиваю и оборачиваюсь.

– Мне не страшно, – отвечают выцветшие глаза на мой взгляд. – Живые пострашнее будут. Имя какое?

– Мое? Или...

– Покойника.

– Ксения.

Я втягиваю носом воздух, ощущая запах разрытой земли: на журнальном столике у окна безжизненно стоят цветочные горшки без растений.

Выцветшие глаза прикрываются веками. Бледные ресницы почти касаются бледных щек. Пальцы на напряженных руках подрагивают. Тонкие губы нашептывают протяжное имя. Имя Ксения шелестит, ползет змеей по желтым обоям, ерошит песчинки земли в горшках.

«Ксения, Ксения, Ксения...»

Тюль подрагивает от шелеста, имя считает бесцветные волоски на моих руках.

– Здесь! – вдруг открывает глаза женщина, но смотрит сквозь меня. – У пришедшей имя Ксения. Говорите, что хотели.

Не знаю почему, все кажется правдой, но хочу убедиться, прежде чем говорить. Пальцы сжимают бахрому накидки на кресле. Я молчу недоверчиво, где-то над головой бежит часовая стрелка.

– Не веришь? – хмыкает женщина снисходительно, глаза сужаются, губы начинают подрагивать от едва заметного смеха.

– Балетки, балетки, говорит, красивые. Она тоже танцевать хотела. Не дали. Ты не дала.

– Я? – недоумеваю.

И вдруг осознаю, что смех у женщины истеричный. Ее острые плечи нервно дергаются.

– Она злится на меня? – выдавливаю я. – За нашу последнюю встречу? За мою спешку, злость, за балетки?

Цвѣлые глаза начинают выливаться, голос дрожит:

– Она не винит, ангелочки не винят. Только скучает. Обнять хочет.

– Прости, прости, – говорит кто-то из меня.

Мне плохо видно, будто все заливается водой, будто мы все тонем.

– Только она говорит, что важное хочет сказать. Говорит, что она – не Котья.

Я в ужасе осознаю, что пришла не бабушка, но все равно продолжаю эту попытку.

– В смысле? – вырывается из болезненной глотки, и ком врезается в горло. – При чем тут Котья? Это Ксения?

Выцветшие глаза просветляются, острые зрачки становятся четкими.

– Ксения, – кивают. – Только Котья не она. Нерожденная в небе осталась. Холодно там без мамы. Обнять хочет.

– Это не бабушка пришла, – машу я головой, пальцы выпутываются из бахромы, прячут мокрые глаза. – Это Ксюша, Ксюша, моя девочка, – говорю я в собственные ладони. – Я тоже! Тоже ску... – Но я только скулю.

Я просыпаюсь в поту,
откидываю одеяло.
Вытираю мокрые щеки,
сглатываю ком в горле,
но он врезается –
цепляется черной
фасолиной.

Дома раскладываю диван в зале. Стелю постель,
пахнущую цветочным кондиционером.

- Я хочу с тобой, – шепчет Сергей, кивая на спальню.
- Нет, что ты! – удивляюсь я. – Что это за пример для Котьки, что это за мать... С чужим дядей без брака в одной постели.
- Давай для вида, хотя бы. Придешь ко мне потом.
- Сережа! – качаю головой.

Я снова вижу этот сон: мне – восемнадцать, кабинет, врач, с Володькой только первый раз все случилось – и сразу две полосы, а он совсем не готов, я мечусь в ужасе, кто меня потом – с этим – возьмет, я стараюсь не смотреть на квадрат экрана, на овальное черное пятно во мне, нельзя смотреть, нельзя думать, боль, кровь, я корчусь, в забытьи держу мягкого младенца с нежной кожей, девочка, ребенок, Ксюша, Ксения, она пахнет сладким, неизвестным еще, запахом из детства, но не случилась – не выросла из черной фасолины на экране, вырвалась с мясом, маленькой душой, не дали обнять, не дали прижать, не дали вдохнуть редкие волосенки; через четыре весны, склонившись с Володькой, смотрим на человечешку Котьку, Котька морщится смешно, краснеет, я решаю, что смилостивились теперь, что вот она... фасолинка, выросла в другом тельце.

Я просыпаюсь в поту, откидываю одеяло. Вытираю мокрые щеки, сглатываю ком в горле, но он врезается – цепляется черной фасолиной.

Эту фасолину не выдрать.

Я крадусь в зал, за дверь Котьки тихо.

В зале непривычно пахнет кремом после бритья. Сережа не спит, глядит на меня. Мне хочется спрятаться в нем, свернуться калачиком под его грудной клеткой. Мне чудится, что моя душа

совсем маленькая, и она там уместится, никто не найдет – ни сон, ни Володька, ни прошлое, ни я сама. Мне хочется сбежать в Сережу, и я таю, мокрая, пока вся не впитываюсь, не просачиваюсь в его клетки.

Мутить начинает через три месяца. Кажется, только сейчас я начинаю осознавать, что у Сережи ржаные есенинские волосы. Интересно, у Ксюши будут такие же?

Мы смотрим на экран монитора и слушаем быстрый стук маленького сердца. Там уже не фасолинка, а малюсенький инопланетянин с вытянутыми головой и глазами, крошечные плечики его поднимаются и опускаются.

- Не надо, Ариш, – говорит мне Сергей после УЗИ. – Не ходи снова к бабке. Пусть будет как есть, не тревожь душу. Нельзя тебе сейчас нервничать.

Я чувствую, как между бровями ползет морщина. Он точно догадывается, что я – истеричка.

А мне надо знать, что вот теперь сжалились, что вот теперь Ксюшу вернут мне. Ей холодно там одной без меня – непринятой, выброшенной. Она, маленькая, обнять хочет, прижаться ко мне – к маме.

Когда мы приходим в садик, Сережа неожиданно присаживается в подбежавшей Котьке, которая замирает на мгновение, а потом вдруг раскидывает неуклюже ручонки и обнимает его напряженную шею.

- Смешная малая, – поднимает на меня глаза Сергей.

«Смешная...» – наверное, это хорошо.

Цвѐлые глаза смотрят долго в проеме, не расширяя щель.

- Уверена, что тебе нужно снова? – спрашивают глаза.

В коридоре скидываю сандалии и прохожу босыми ногами в зал. Ступни касаются холодного пола. Я опускаюсь в низкое советское кресло и поднимаюсь на носочки, ноги на уровне коленей жмутся друг к другу. Я сама как те кузнечики с «танцев». Из раскрытого окна тянет прохладой после дождя. Я долго и бессмысленно изучаю синие цветочные горшки.

- Все ходите, все прощения просите, пытаете. Не для них ходите – для себя. – Женщина закрывает ставни и оглушает.

Я прячусь в цветочных горшках, блуждаю глазами между ними.

- Снова Ксения? – уточняют.

Я прочищаю горло.

- Да. – В груди у меня пусто и тихо.
- Кто нужен: бабушка или нерожденная? – Тон женщины бесцветный, как радужки глаз.
- Ребенок.

Из земли в горшках торчат острые зеленые стержни. Шум в ушах не дает расслышать шепот. Имя в шепоте шумит в ушах, словно море в ракушках. Детское в этих ракушках, родное, далекое, потерянное.

- Говорите с ней.

Я хватаюсь за живот, разлепляю пересохшие губы.

- Прости, Ксюшенька, – произношу безголосо, не отрываясь от зеленых ростков в горшках. – Тебя отпустили ко мне теперь?
- Она говорит, не переживайте: ей хорошо, она с Павлом.

Я перевожу глаза на женщину в кресле, очнувшись.

- Да, с сыном, – спокойно подтверждает женщина. В груди клокочет, но я пока сдерживаю радость.
- Значит, это бабушка! А Ксюши нет там, в небе. Значит, Ксюша вернулась ко мне, – расплываюсь я, ступни опускаются, остужаются холодным полом.

Выцветшие глаза застывают, удивляются:

- Говорит, маленькая Ксюша уже ушла. К Богу ушла. Вымолил кто-то.

Я обнимаю рукой круглый маленький живот, будто боюсь отдать.

- А ваш инопланетянин – мальчишка.

Я изучаю горшки с зелеными стебельками, пересчитываю зачем-то их. Ростков – девять.

Домой иду по оживленной улице мимо стеклянных витрин, мимо рекламных щитов. И долго стою под одним из плакатов, на котором в квадрате черной комнаты тоненькая балерина в пышной пачке, склонившись, завязывает белые фасолинки пуантов.

